



Ф. Решетников

МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Федор Михайлович Решетников

Никола Знаменский

В сборник произведений русского писателя Федора Михайловича Решетникова (1841—1871) вошли повесть «Подлиповцы» — о тяжелой жизни пермских крестьян и камских бурлаков, малоизвестная автобиографическая повесть «Между людьми», рассказы «Никола Знаменский», «Кумушка Мирониха», «Тетушка Опарина», а также «Очерки обозной жизни».

Содержание

#1	0005
ПРИМЕЧАНИЯ0069

**Ф. М. Решетников
Никола Знаменский
Рассказ доктора**

Прежде всего, я должен сказать вам, ... **П**господа, что Никола Знаменский, мой достоуважаемый родитель, вовсе не выдумка, но лицо действительное. Я знаю, что всякий из вас скажет, что этот рассказ набывальщина и в настоящее время пошлая вещь; но я вас предупреждаю: многие из вас таких людей, может быть, не видали, да и по одной наружности нельзя судить о человеке. Мне, изъездившему и прожившему в разных захолустьях разных северных губерний, приводилось видеть и после смерти моего отца людей покрасивее его. А надо вам заметить, мой отец умер, кажется... кажется, назад тому лет тридцать. Знаю я также, что многие из вас все не бывали в наших северных губерниях и не имеют никакого понятия о тамошнем климате и жителях. Когда я, по окончании курса в семинарии, поступил в академию, то над моей походкой и произношением долго смеялись товарищи, удивляясь в то же время моему телосложению и силе. Да! та ли еще была бы у меня сила, если бы я был Никола Знаменский... И самому мне, когда я вспомню прошлое, особенно сельскую жизнь как будто

не верится, а между тем такие люди были, и люди эти честные, добрые, но устроившиеся под влиянием забиенной среды. Когда я прежде, бывши мальчишкой, вспоминал отца, мне смешно казалось. Даже раз я за обедом вдруг захохотал, что удивило инспектора и за что я получил хорошую кашу из березы. Но теперь я думаю так, что отец несколько не был виноват в том, что на наш взгляд был смешон; я был бы в тысячу раз виноватее его, если бы последовал его примеру. Впрочем, обо мне начальство позаботилось.

Родитель мой, по бумагам благочинного, назывался «иерей Николай Сидоров Попов», а в деревнях, в Знаменском селе, Березовского уезда, Холодной губернии, назывался Никола Знаменский; так же как и дед мой, вероятно потому, что в селе нашем была знаменская церковь. От этого при поступлении моем и брата моего Ивана в семинарию вышло недоразумение, потому что отец мой никак не хотел согласиться, что он Попов. Когда ему говорили: да ведь ты Попов? — он говорил: «Знамо, поп, а парнишки што за попы? Эк, како слово сказано...» Так меня назвали Поповым,

а брата Ивана — Знаменским. Он и на бумагах подписывался просто: поп Никола Знаменский, на что, впрочем, благочинным мало обращалось внимания.

Лицом, походкой, одеждой и словами мой родитель нисколько не отличался от крестьян Березовского уезда. Лицо у него было желтое, глаза большие, с большими рыжими бровями, которые росли в разные стороны и потому придавали лицу угрожающий вид; нос широкий, а когда он хохотал, то ноздри делались очень широки, оттопыриваясь кверху; борода и волосы на голове были пепельного цвета, большие, как у крестьян, и никогда не чесались. Отец мой не любил больших волос и всегда смеялся над теми, которые носили косички: «Черт не черт, чучело не чучело...» — говорил он и плевал в сторону. Роста он был среднего, но мужчина здоровенный; говорил басом, и его пьяного далеко было слышно. У него была только одна ряса из зеленого сукна, доставшаяся ему от тестя. Эту рясу он надевал только в пасху, в троицу, в николин день, в рождество да когда ездил в город к благочинному, а в остальное время

она висела в чуланчике, где крысы порядочно ее портили каждый год, и моей матери, забывавшей о ней в обыкновенное время, было немало хлопот законопатить ее, что она исправляла посредством холста или просто тряпок. Носил он лапти собственного изделия и крестьянскую шапку, сшитую из бараньей шкуры с шерстью, и эта шапка, ношенная им не один десяток лет, была очень тяжела от почивания и была ему очень дорога. Другого одеяния на ноги и на голову отец не имел. Зимой и летом он носил длинный полушубок, состоящий из телячьей, овечьей и козлиной шкур с шерстью, с тою разницею, что зимой шерсть была внутри, а летом снаружи. Этот полушубок был ужасно тяжел для нас, восьмилетних мальчуганов, и мы удивлялись, как это отец может носить такую тяжесть. Был у него и коричневый армяк, но он был отцу дороже рясы и надевался очень редко.

По этим описаниям вы можете представить фигуру моего отца. Но этого мало: отец никогда не снимал с себя портретов, никогда не рисовался, а постоянно хлопотал. Представляйте себе его сидящего в кабаке, в полу-

шубке, опоясанном веревкой из лыка, с рукавицами или без рукавиц, в лаптях, с перевязанными до колен штанинами лычной бечевочкой, и рассуждающим с мужикам и о разных разностях, а преимущественно о ловле зверей и птиц; или представляйте его отправляющимся с дьячком Сергунькой в лес в такой же одежде, только у отца на спине болтается мешок с хлебом, солью и ножиком, в правой руке чугунный лом, которым он подпирался как палкой, а за веревку, опоясывавшую полушубок, вдет топор с топорщиком — это он идет бить медведей; или идет отец с Сергунькой, концы толстой палки у того и у другого на плечах, и на этой палке висит убитый медведь, лом затянут за веревку, топор затянут за Опояску дьячка Сергуньки; представляйте его, пожалуй, ругающимся с мужиками или звонящим в колокола на соборной колокольне в губернском городе Холоде, вместе с дьячком Сергунькой... Но все-таки имейте в виду то, что он умер назад тому тридцать лет...

Уезд, в котором жил мой отец, один из самых бедных в Холодной губернии, каких уезд

дов еще очень много в других губерниях, а народ и теперь еще там дикий. Хлеб от холода не растет. Поэтому крестьяне занимаются звериным промыслом и зверей продают в ближайшем городе Березове купцам, которые так ловко надувают простаков, что они всю жизнь не могут выйти из кабалы и долгов купцам. Например, крестьянин привозит к купцу лося, купец дает за лося четвертак или пуд ржаного хлеба и просит крестьянина привезти ему двух оленей. За это он дает крестьянину вперед еще пуд муки. Крестьянин три месяца гоняется за оленями и, привезши оленей или их шкуры, получает от купца выговор, что не исполнил поручения в срок; а так как крестьянину нужен хлеб, то он исполняет на купца за пуд муки какую-нибудь работу, например, работает в кожевенном заводе. Или, из-за хлеба, крестьяне нанимаются рубить лес для березовского купца и этот лес весной сплавить по реке Бурой к такому-то месту. Купец подряжает знаменского старосту или состоятельного крестьянина так: за пятерик дров дает ему рубль, за десять бревен полтинник, а этот крестьянин подряжает кре-

стьян уже на свой счет и дает половину. За сплав летом купец давая одному человеку восемь или пять рублей, если больше пята сот верст, а подрядчик половину. Но часто бывали несчастья такого рода, что от прибыли воды дрова и бревна уносило водой или разбивало плоты в бури, и тогда крестьяне становились рабочими подрядчика на всю жизнь, так же как и подрядчик купцу. Другие жители пробиваются тем, что продают в Березове кадки, масло, яйца, телят и т. п. — с большими убытками, потому что в город наезжает всегда в базарные дни много бедных крестьян, у которых горожане всегда покупают с бесстыдным выторговыванием.

В нашем Знаменском селе в то время, когда мне был восьмой год от роду, было двадцать домов, в которых жило двадцать пять мужчин, пятьдесят девять женщин и пятьдесят один человек молодого поколения. Мужчин сравнительно с женщинами было мало потому, что они жили в разных местах на заработках. Это население впоследствии постоянно убывало, и теперь, когда я был там в прошлом году, там состоит налицо только во-

семь домов с тридцатью человеками всяких возрастов. Причина этому та, что люди в голодные годы мешали в муку кору или ели одну кору, хворали и умирали, а иные разошлись на работы в другие места. Жители при мне были крещеные и некрещеные: к первым принадлежали православные государственные крестьяне, которых было только шесть семейств; а ко вторым — тептери и черемисы; из них было, впрочем, несколько и крещеных, но они все-таки по-своему молились своим богам; у них были свои обряды, свои понятия.

Само собою разумеется, отца нельзя назвать развитым человеком, потому что все его способности тратились на то, как бы ему угодить благочинному, убить медведя, настрелять глухарей, как бы достать больше хлеба и как бы лучше обругать дьячка Сергуньку или сделать так, чтобы Сергунька и все люди, повыше его, не ругали его. Раз он, хмельной, пьяному Сергуньке обрезал косу за то, что тот упрекнул его тем, что он в лесу с дороги сбился...

Отец мой, как я вам уже говорил раньше,

был здоровенный мужчина. И было от чего! Возня с медведями, которых он любил больше всего на свете, подвижная жизнь — придавала ему бодрости и силы: он никогда не хварывал, не жаловался на слабость зрения, пил пиво и брагу целыми жбанами, ел за трех, спал подолгу и так крепко, что его трудно было разбудить. Один раз он, хмельной, за что-то избил восемь черемисов, и все черемисы нашего прихода боялись «знаменского Микулы».

Отец его был дьячком в том же селе, обучавшийся чтению и письму дома и неизвестно каким образом сделавшийся дьячком и как справлявший службу. У этого дьячка, моего деда, которого, однако, мне не привелось видеть, было два сына: Николай, мой отец, и Семен да еще дочь Матрена. Они кое-как выучились писать и читать по-церковному у священника, и на этом закончилось их образование. Когда умер мой дед, отца сделали на его место дьячком.

Вот что говорил об этом назначении Никола Знаменский своим приятелям.

— Сеньке в та поры, кажись, было два-

дцать первой, али двадцать два года, а мне пошел десятнадцатый (то есть — 20-й), не помню... Сорвиголова был этот парнишко! Ну, вот, теперича, как есть помню... Сидим мы за столом на поминках; поп Алексей и бает: а кто, бает, из вас, теперича, робята, дьячком хочет сделаться?.. Ну, а нам, мне да брату, обим хотелось дьячками быть, потому, сам знаешь, подати с дьячков не просят, жизнь легкая, а што насчет оранья — наше дело: заорем так-то ли што... Поп Алексей и бает: двоим негоже, одному нужно... Ну и велел ехать мне да брату в город, к самому благочинному, и грамотку обещал дать — это к благочинному, знаешь... Ну, поехали. Я да брат по лукошку яиц взяли, ругаться стали дорогой. Сенька бает: ты, бает, чупарый, тебя не сделают, а меня, бает, сделают, потому, у меня, бает, в лукошке два ста десятнадцать два яйца, а у тебя только два ста... Ну, пришли к благочинному, рыжий такой, просто разодет так, что и не бай! «Што? — спрашивает это нас... Так и так, баю; а я нужды нет, што Сенька был сорвиголова, а я все-таки был не в пример бойчае его. „Вот те, баю, грамотки от нашего попа Алексея,

дьячком велел тебе меня сделать. За эго я тебе, батшко благочинный, лукошко яиц привез“. Смешно ему што-то стало. А Сенька как взглянет на меня по-коровьи и скажет благочинному „Врет Миколка. Я два ста десятидцать два яйца привез, а он только два ста...“ Ладно, бает благочинный. Ну, и заставил он нас читать — прочитали гоже: петь заставил, а я по-церковному немного смыслил... Благочинный и бает: ты, бает, петь не умеешь, а тоже в дьячки суешься. Ну да, бает, ладно: будь дьячком в селе, а ты, бает брату, останься в городе, я тебя в собор поставлю. Я, бает, отпишу к архиерею и скажу, колды тебе приезжать постригаться... Ладно, думаю, и диво меня взяло: за што это волосы стричь? Не дам. На што из-за этого с попом Олексеем дома подрался маленько... Пошли мы с Сенькой в кабак, Сенька дразнится: што, бает, я в город, а ты в село... Ладно, баю, в городе Медведев нет, а ты меня хоть зарежь, не пойду в город. Потом он стал калякать: я, бает, теперь старше тебя, начальство... За это слово я его больно хотел побить, да на радостях прощанье сотворил.

Город от нашего села был в пятидесяти

верстах, и туда отец ездил часто с зверями, птицами и рыбой, которые он продавал одному купцу, или, проще, получал от купца муку, крупу, соль и порох с дробью. Дядя Семен, проживши в городе год, значительно пообтерся: носил суконный подрясник, сапоги, помахивал своей головой и косичками, за что отец стал называть его пучеглазым чертом. На другой год дядя женился на некрасивой причетниковской дочери и поселился в доме тестя, который, кроме жены, имел еще трех дочерей, ужасно глупых женщин, которых мой отец не мог терпеть и называл кикиморами. Особенно он ненавидел их за то, что они называли его неучем, сельским дьячком; а со стороны он слышал, что они называют его колдуном, потому что он будто бы посадил им по киле; у них было по грыже под подбородком — местная болезнь, происходящая там и теперь от нечистоты и влияния климата.

Церковь в Знаменском селе была открыта при моем дедушке с целью обращения язычников в христианство. Первый священник был молодой, ученый настолько, насколько в

то давнишнее время можно было ожидать от человека; но народ не понимал его слов и в церковь не ходил, и он, промаявшись в селе кое-как год, уехал в другое место. После него священником был о. Алексей, при котором мой отец сделался дьячком; он был старик и скоро умер, а на место его приехал о. Василий Здвиженский из Рязанской губернии, где он был дьяконом на причетническом окладе. Он думал, что в нашем краю жить хорошо, но ошибся.

Вот что рассказывал про него мой отец.

— Первым делом поп Василий остановился со своей женой и дочерью Настькой у меня и стал думать, как бы ему дом выстроить, да большой, в пять горниц... Ну, по том и бает мне: поди-ко завтра; — кличь крестьян в церковь. „Зачем?“ — баю. А по то, бает, нужно... А сам бает не по-нашему, а инако, смешно, подковыривает как-то... Ну, утром, я и скликал всех. Пришли... Ладно. А поп обедню служит. Тожно вышел на амвон и бает што-то по бу-мажке. Поглядели на него мужики да бабы — и драло. Поп догадался. В другоредь велел мне двери запереть, да народу-то пришло помене,

куды как мало, больше ребятенки... Вышел опять поп и стал по бумажке сказывать, изгиляется, и голос другой... Уж как это он изгилялся! и рукам и ногам, и головой... Ребятенки хохочут, а я им грожу; не способился; не одного за волосы отвозил. А кои постарше были, те пошли к дверям, а я не пуцаю и баю: поп не велит пуцать, ему кланяйтесь. Ну, да они меня боялись... Так поп ничего и не сделал. А с этих пор ни один мужик и ни одна баба не стали ходить в церковь. Только ребятенки и бегали по малости. Ну, поп-то был придурай тожно: пошто, бает, риза холщовая, надо серебряную — стал сбор с мужиков делать, а у тех и самих-то шиш. Надо, бает, старосту церковного — выбрали первого што сеть во всем мире плута... Ну, мужики и не залюбили ево, прятаться стали от него. Ну, да он и не больно-то ласков был: брезговал мною. Ну, стал поп жаловаться благочинному, да ничего не взял: потому благочинного нужно поблагодарить, а у попа шиш; попу мужики ничего не дают... Вот мой поп и рассердись на благочинного, и поезжай в губерню к архирею, а тот на него осердился: стричь, бает, больно буду... С

тех пор поп славный стал и мужикам полюбился, стал со мной в лес ходить на промыслы, и попивали мы с ним пиво и водку, как ни один мужик не пивал... А то, когда найдет на моего попа благой стих, позовет меня да старосту, и пойдем служить обедню: я часы кое-как прочитаю, он эктению скажет через два в третий, Евангелие прочитает, „иже херувимы“ пропоем... Он придурай, што ли, был — не знаю: как я запою: „отложим попечение...“, он и плачет, и плачет — што есть, жалко его... Я и баю: чево ты нюни-то распустил. Вылезай, баю... Ладно, што людев-то не было, окромя старосты, да и тот едва мизюкает (дремлет...) А поп через три года, как в село приехал, половину-то обедни позабыл, а книжки одново раза подлецы черемисы, се всеми иконами, ризой, поповской рясой, коя в алтаре висела, и сосудами, растащили, и виновных не нашли...

Захотелось отцу жениться на поповской дочери. В это время поп жил уже в своем доме.

— Красивая была эта Настька в та поры, — рассказывал отец. — Ну, да это што... А то мне

любо, што не скалила так зубы, как городские девки; девка, одно слово, работящая. Ну, вот я и пристал к попу Василью: отдай, баю, Настьку за меня! Поп и бает: ты и пальчика» што есть, ее не стоишь. Врешь, баю. Без меня, баю, ты бы кору глодал да пальчики облизывал. А я тебя стрелять научил. Отдай Настьку, не то плохо будет. — Я, бает, за попа отдам. Ну, а я в та поры баской был, и Настька со мной ласкова была...

Жена священника скоро заметила, что ласки ее дочери зашли уже очень далеко, и это привело ее в отчаяние, а священника в ярость... Священник как-то был хмелен, обрехал дочери волосы, прибил и выгнал ее; дочь убежала к отцу, а у того в это время был уже свой дом, заключавший в себе одну избу.

— Пошел я к попу, — говорил отец, — топор для страха взял. Прихожу к нему, он жену за косы теребит. Вот я как крикну: видишь это! и показал ему топор; у попа руки опустились и язык высунулся. А жена его выбежала на улку и кричит: «Ой, попа режут! ой, попа режут!» А я тем временем схватил попа и кричу: коли Настьку за меня не отдашь, ко-

сички твои обрублю... Поп испугался и кричит «Отдам! отдам!» — «Врешь?» — баю. — «Вот те Христос!» — бает. Ну, и начали же мы плясать с ним! Народ было собрался в избу, да мы его брагой угостили. А Настьку, как следует по божьему закону, я к отцу привел и наказал до свадьбы не обижать ее, а то, ей-богу, мол, косу обрублю и попу и попадье.

Мой отец долго вспоминал про свою свадьбу. — Уж так-то мы всем селом тешились — и не говори! В первый день восемь корчаг пива, да шесть корчаг браги, да полведра вина высосали... Всю посуду, какая у попа была, перебили... А уж што это сажей лицо ему мазали, и не говори!.. Пляски были — страсть! Уж нигде не было и не бывать такой свадьбы, какая была у Миколки Знаменского!..

Тетка Матрена вскоре после этой свадьбы вышла замуж за городского дьякона, а так как отец любил компанию, то он, сломав свою избу, пристроился к дому попа, так что из двух домов образовался, по внутреннему устройству, один дом, потому что из кухни попа были двери в избу отца.

Прошло три года после этого. У отца было

уже два сына, Иван и я, Николай. После нас еще рождались дети, да умирали.

Отец очень хвалился крестинами:

— Уж я никогда так не рявкал, как на Ванькиных крестинах! Уж я эту «верую» лучше всех откатал, а пел так баско, что опосля того и придумать не мог: на какой это я манер пел толды? На што жена нездорова была, и та хихикала от радости и баяла: экой ты у меня петушок... А как у меня другой сын родился, поп и я хмельные больно были. Поп и дает ему свое имя... — Нет, баю, поп, давай мое! — Нет, бает, не хочу. — А ты, баю, своего парня наживай и давай ему свое имя, а этова парнишку я сам назову... Так поп ничего и не сделал со мной. Сперва было учнул сказывать: крещается раб божий Василий, да я крикнул: не Васька, а Колька! Колька в отца пойдет. Ну, значит, Колька у меня и сделался. После было хотел я это имя дать Ваньке, а Ванькино Кольке, да поп метрики усрал к благочинному.

Вскоре после моих крестин умер и знаменский священник: он объелся грибов. Отец сильно запечалился, как он говорил. Он жил

дружно с священником, и священник в ссорах всегда уступал отцу. Привез отец из города благочинного, который в наше село никогда дотоле не заглядывал. Подивился благочинный тому, что в селе церковь деревянная, похожая на часовню, нет колокола, образов всего только восемь, риза одна холщовая. Стал благочинный служить обедню с соборным городским дьяконом: на клиросе пели мой отец и дядя, только дядя службу знал хорошо и больше заставлял отца молчать, что отцу очень не нравилось. Церковь была полна народу, сошедшего больше из любопытства. После похорон, за обедом, отец стал просить благочинного сделать его попом.

— Да ты, что есть, и часы читать не умеешь, — сказал благочинный.

— Умею... А уж я тебе как много буду благодарен, — и поклонился отец в ноги благочинному: а это нравилось благочинному.

— Ну, приезжай в город; брат поучит тебя.

— Брат! Да я ему все волосы выдергаю... Штоб ему меня учить! — горячился отец. Дядя стал подсмеиваться над отцом, а когда теща отца дала благочинному тридцать рублей на

ассигнации, и благочинный сказал отцу: ты будь в надежде — все сделаю, — то дядя сказал благочинному: вы неправильно это, не по закону...

— Што? — спросил сердито благочинный.

— Это место по закону мне следует.

— Ишь, какой забияка! Так вот те приказ: быть у брата в дьячках.

— Упаси меня мать пресвята богородица, штобы я с таким лешаком да в одном селе стал жить! — закричал отец.

Когда благочинный лег спать, то дядя подошел к отцу и, сказав ему: подлец! — вдруг ударил его по лицу. Это отца привело в ярость, но он сдержался и вытолкал дядю на улицу, сказав: хоть хуже тебя буду, а знаться с тобой не хочу после этой оказии.

С той поры отец не мог без злобы говорить о брате, и между братьями была во всю жизнь такая вражда, что когда отец в городе попадался навстречу брату, тот плевал чуть не в лицо отцу и обходил его стороной, а отец пугал его кулаками. Семейства отца и дяди не кланялись друг другу и всегда со злобой рассуждали друг про друга. Тетку Матрену тоже

довели до того, что она перестала ходить к дяде, а соборный дьякон, муж тетки, так давил его, что он принужден был переехать в горный завод, где он женился и умер на сорок пятом году дьяконом.

Месяца через два после смерти Знаменского священника потребовали отца в город Подгорск, отстоящий от Березова в ста верстах. Благочинный сказал отцу, что его требует архиерей на посвящение его в священники. Отец очень обрадовался этому, поклонился в ноги благочинному и два дня брал уроки у мужа тетки, но запомнил очень немного. Он никогда не видел архиерея, и его ужасно пугало то, как он предстанет перед такое лицо. Съездил он в село за рясой, забрал все деньги, какие у него были, взял с собой лукошко яиц, кадушку с топленным маслом и поехал в Подгорск, о котором он знал по слухам.

Воротился он домой через месяц и вот что рассказывал нам и чем хвастался всю жизнь.

«Из Березова в Подгорск поехали со мной один кутейник, востроглазый такой парень, да еще какой-то поп. Смеются они надо мной, зачем на мне армяк надет, шапка мужицкая

и лапти... Ну, да я их пугнул; Всю дорогу они пугали меня архиереем, а у меня у самого все нутро всю дорогу ворочало так больно, так больно... Потом, как приехали в этот Подгорск, я диву дался: город больше Березова, а церковей сколько!.. А я допрежь думал, только на свете и есть один город Березов... Кутейник позвал меня к себе, ну, я и поехал, а у него в горнице пятеро кутейников было, да один дьякон какой-то. Тут я с ними баско наюзился, потому они мне понравились, и вино у них лучше березовского. А утром меня растолкали: архирей приехал; иди, покажись ему... Баяли, как он... приехал ночью, во все колокола звонили. Ну, просто душа в пятки ушла! Стал запрягать лошадь, так не велят. Взял кадушку масла да лукошко яиц, забранили: он те, бают, даст за это... Однако, я таки понес, а он жил у тамошнего благочинного. Ну, просто душа в пятки ушла! Полезаю в избу: „А где, баю, владыко?..“ А меня уж научили, как архирея называть, только я первое-то слово не мог выговорить. — Ну, там опросы пошли, хохотали сколь надо мной. Поди, бают, к наибольшему дьякону, и дорогу показав-

ли. Я пошел... Сердитый такой, хайло у него побольше моево... Што, бает, тебе? — Я, баю, Никола Знаменский. — Кто? спрашивает. Кое-как растолковались... — Отчево, бает, ты без рясы? Я баю: а пошто ряса? — Он как закричит; я ему хотел было дать масла — так не берет: „Мы, бает, эту дрянь не берем, нам, бает, девать ее некуда. Давай деньги“. Ну, дал я ему десять рублей — и спасибо не сказал. — Ну, бает, я иду к самому владыке, айда со мной... Мурашки забегали, просто беда! и я кое-как опамятовался, как очутился в хорошей горнице. Вот горница! и нигде такой я отроду не видывал, а этих дьячков да попов — и! беда!! А большой дьякон даже и не поклонился им, так и ушел в другую горницу. Вот забился я в уголок, боязнь маленько прошла... Дьячки и попы шепчутся, крикают, бумажки читают, деньги считают, а какие-то баские парнишки то и дело бегают па горнице; какие-то кутейники, высокие и невысокие, руки в боки, глаза в потолок, ходят и покеркивают... Ничего я такого отроду не видывал. Уж дивился я, дивился, об архирее позабыл — больно уж баско стоять-то было. Только вдруг выходит из две-

рей набольшой дьякон, и как гаркнет — куда те медведь какой: Николай Попов? — Я вздрогнул. Поглядел на него; а он опять: — иди сюда... Ну, я просто убежать хотел. Уж не помню, как я очутился в пребаской комнате: пол это, знаешь, светлый, как лед, а стены — и сказать не умею... Только вдруг выходит откуда-то монах с большим дьяконом и спрашивает: который? — Этот, указывает на меня большой дьякон и машет мне рукой, а я трясусь, тронуться с места не смею, а он машет... А владыко идет ко мне, я и бух в ноги ему... — Встань, говорит мне владыко, а я стукаюсь лбом об пол, а он бает: встань... Нечего делать, боязно, а встал, он меня перекрестил... „Умеешь служить?“ — спросил он меня... Все, баю, умею, а сам промеж себя думаю: не спрашивай ты меня, ради Христа. Господи Иисусе, спаси-помилуй; большому дьякону все деньги отдал... А он глядит на меня, большой дьякон мне глазами мигает, а я ни жив ни мертв. Уж я, кажись, сколько медведей видел, а никогда так не было боязно, как тут. „Сколько у вас в селе прихожан?“ — спрашивает владыко; я плохо понял и сбаял: чево? Владыко рассме-

ялся, а мне легче стало, я уж бойчае стал. „Кто у вас прихожане?“ — „У нас-то?“ — „Да“. — „А всяки... кто их знает“. Потом он говорит большому дьякону: знает ли он службу? — Знает, сказал тот и назвал его первенством. „Приготовь его... А ты завтра будешь посвящен в дьяконы“. Я и баю: а што ж благочинный ба-ял: в попы? А большой дьякон и глазами, и ртом, и всяко изгиляется, так что мне смешно стало. Владыко и бает: што с тобой? — Да вон, батшко-владыко, большой дьякон уж больно смешно глазами да ртом изгиляется. Поглядел на большого дьякона владыко сердито и сказал: завтра ты будешь дьякон, а после завтра поп... Я ему опять в ноги... А как вышел оттоль, совсем ровно другой стал: весело не весело, а так уж што-то особенное, што и сказать не умею. А эти дьячки и попы, как вороны, стали лезти ко мне: што, бают, ничего?.. што сказал? А кои напросились вина выпить.

Уж больно я был весел, так што и об масле да яйцах позабыл. Только у квартиры и вспомнил об них: видно, большой дьякон взял.

А в этот день меня славно напоили. Утром

опять пинками разбудили. Пошел в церковь, народу тьма-тьмуца. У двери стоят архаровцы (казаки) с большущими ножами (с саблями — Пояснение автора) и то и дело толкают народ да бьют их кулаками. Меня тоже один ударил, да я его так треснул, што он будет помнить Николу Знаменского. Спасибо, попы заступились и втащили меня в церковь. Попы, знаешь ты, бегают, дьячки и дьяконы тоже, а на них кричит большой дьякон. На клиросах это молодые парни — эконькие и экие — стоят, эконькие мальчуганы в ризках. Диво? Ну, недели на меня ризку (стихарь) и поставили в угол... Просто страсть... Вдруг попы и дьякона похватали, кто чево мог, и побежали вон из алтаря, и я за ними, только ничего в руки не взял... Меня было один дьякон чуть не ударил за то, што я его больно толкнул, а другой велел мне смирно стоять в алтаре... Да я думал: это он брезгует мной... Не успел я опомниться, как вдруг запели... Ах, как баско! Я и рот разинул, только гляжу это на клирос, меня и тянет за рукав дьячок, а владыко уж посреди церкви стоит, одевают его... И риз-то этих сколь... А я стал в алтаре в

угол к дверям и гляжу это в щелку, как одевают, а большой дьякон с другим дьяконом кадят. И диво же мне все, и понять не могу, што певчие поют, а пели так баско, так баско... (и отец при этом крякал). И никак я ее не мог понять вот какого пенья: пошто там пели: с палатей на полати — и много раз, да так баско, особливо как эти ребятки в ризках... (и отец опять крякал, как бы желая дать понятие о пении исполатчиков).

Вот молодые дьякона, што архирея одедали, повели меня, грешного человека, на середину церкви, да сперва один, потом другой, и давай толкать меня в шею. Я смотрю на них и дивлюсь, а они зовут меня в алтарь. Ну, как я пойду, колы в большие двери попы ходят? а большой дьякон стоит в больших дверях и машет меня. Ну, перекрестился и пошел... Не огляделся я, как большой дьякон подвел меня к архирею, а он сидит... Ничего потом не помню, окромя того: как вдруг большой дьякон рывкнет: ах ти, вошь! Ну, я, брат, больно испугался... А штучки-то эти у меня таки водились. Помню еще, што волоса мне стригли; ну, да это куда ни шло.

После обедни владыко бранил-бранил меня и все-таки обещал завтра попом сделать, а от большого дьякона просто покою не было... На другой день меня с дьяконами поставили, ектению заставляли сказывать... Спасибо, дьякон, што рядом со мной стоял, сказал, да и певчие скоро пели... Не легко, братец ты мой, попом сделался... Владыко опять бранил меня и большого дьякона, зачем он не выучил меня, а певчие толковали, што-де потому меня большой дьякон не выучил, што я мало дал ему денег... Мало? десять-то рублей, да кадушку масла, да лукошко яиц?.. Певчие да дьякона эти разные все просили у меня денег — да где я их возьму?

После этого меня две недели учили, да плохо я понимал. Маялись-маялись и послали домой».

Нас, ребят, не выдавших никогда архиерея, очень занимал и удивлял этот рассказ.

Из Подгорска отец привез в Знаменское село дьячка Сергуньку, который служил тоже в каком-то селе этого уезда и который архиерея тоже видел в первый раз. Ему давали стихарь, и так как отец жил с ним на одной квартире,

то они сошлись, а так как Сергунька был холостой человек, то отец сманил его к себе. «Мы вместе в лес будем ходить», — говорил отец Сергуньке, любившему стрелять птиц.

Свою обязанность отец знал плохо, а по книжке читал еще того хуже; дьячок хотя и знал свое дело, но ленился, и если когда служил с отцом, то кричал: не так! но отец его не слушал.

С самого начала отец объявил крестьянам, что он поп, и просил их идти в церковь. Крестьянам хотелось посмотреть, что будет делать в церкви Николай Знаменский, которого они любили, и нанесли ему всякой всячины понемногу: кто морошки, кто соленых груздей, кто яиц, и т. д. Каждый, принесший что-нибудь отцу, спрашивал:

— Так идти?

— Как хошь. А я петь стану. Баско спою, как у набольшого попа поют, — и он рассказывал архиерейскую службу, насколько понял.

Церковь была полна, отец читал громко, пропуская то, чего не мог разобрать. Когда он кланялся народу или кадил, то кто-нибудь

кричал:

— А мне што не кланяшься?

— погоди, и тебе будет. Не всяко лыко в строку, — отвечал отец.

На другое воскресенье в церковь пришло человек пять, а третье и четвертое воскресенье отец пробыл в лесу.

К нашей церкви было причислено пять деревень, и ни отец, ни дьячок не получали никакого жалованья; поэтому приходилось жить приношениями; но приношения делались только в таком случае, если отец гнал народ в церковь или приезжал к крестьянам с крестом и святой водой, да придирался к тому, зачем зычники обряды по-своему справляют. Впрочем, отец служил только в большие праздники, которые чтит сам.

Он ужасно не любил черемисов за то, что они воруют, и потому сильно налегал на них, требуя, чтобы они молились и справляли обряды по-христиански, и делал с ними штуки такого рода.

Приходит он один раз к черемису и спрашивает:

— Где образ?

— А тебе што?

— А ты крещеный?

— Крещеный.

— Ах ты ватаракша! Куда ты образ дел? Сейчас позову старосту... В острог он тебя све-зет.

А отец и сам не знал, что такое острог. Он только слышал, что острог — нехорошая штука.

Черемис видит, что одному ему с отцом не справиться, достает из-под лавки образ и нехотя весит его в угол.

— Ну, молись! Черемис не молится.

— Вот так молись, — перекрестился отец и поклонился.

Черемис улыбается.

— А! ты так? пойдём к старосте!.. Тебе святой лик калечить? За что ты глаза-то ему ску-лупал? Айда! — и отец тащит черемиса.

Черемис боится старосты, который отдует его и заставит работать на себя. Обещался он отцу молиться и поросенка дал.

На другой день отец условился с дьячком, чтобы тот стаду угла дома на улице и отвечал на его слова. Барыши они условились делить

поровну и пошли вечерком.

Стал дьячок неприметно у угла, избы, а отец входит в избу и видит, черемис весит образ в угол.

— А, обманывать?! ты думаешь, я не знаю, что ты снимаешь образ? — кричит отец.

— Упал.

— Врешь, собака! А вот я спрошу образ...

Черемис улыбается.

— Што, смешно? Ты не веришь, што он ба-ет?

Черемис хохочет.

— Так вот же те сказ: коли образ баять будет, я всех твоих чучел спалю, а ты должен всю жизнь молиться ему.

Черемис хохочет.

Отец ударил черемиса по лицу и сказал:

— Так ты, образина ты эдакая, над святым ликом хохотать?.. Никола дождики дает, Никола здоровье дает, Никола хлеб дает, Никола тебя сичас громом убьет...

— Не убьет.

А дьячок между тем провертел в углу в пазах дыру, как раз около иконы, и кричит: убью!!! Черемис испугался.

— Што? — сказал сердито отец и кричит: — Скажи, батшко, Микола-угодник, пошто он тебя снял?

— Своим богам молится, нашу веру не любит. Скажи ему, что я ему большую болезнь пошлю, коли он своих богов не сожтет сичас.

— Слышишь?

Черемис в землю, стал молиться и шепчет: не жги моя бога; моя бога лучше твоя бога...

— Только ты скажи одно слово, раздавлю тебя. Никола, поберегись... — кричит дьячок.

— Ай-ай! — закричал черемис и побежал за чучелами. Когда он приносил чучел, то отец топтал их ногами, так как они были глиняные. Потом черемис дал моему отцу двух свиней.

После этого чуда бедный черемис долго глядел на икону, осмотрел ее со всех сторон, лепетал что-то по-своему и повесил опять на стенку, потом он стал молиться и спрашивать икону, даже кричал, да икона не давала ответа. Пошел черемис с жалобой к отцу, что образ говорить не хочет; отец взял с собой дьячка, и образ опять заговорил. После этого черемис не снимал образа и даже стал ходить в

церковь, думая, что поп Микола с образами разговаривает; его примеру последовало несколько черемисов.

В пасху, в рождество, в троицу и в свои именины отец ездил в деревни славить, за что ему давали кто птиц, кто ягод, кто просто поил пивом и брагой. За требы крестьяне тоже платили яйцами, ягодами или давали то, что не могли сбыть в городе.

С крестьянами мой отец жил дружно: барства в нем никакого не было, и за простоту все любили его, да и понятия его нисколько не разнились от крестьянских понятий. Он, так же, как и крестьяне, говорил, что на другом конце живут люди с рогами, что в луне сидят Каин и Авель, и он ни за что бы не поверил, а обругал бы того, кто стал бы доказывать ему, что земля шар и т. п. Больше всего крестьяне любили отца за то, что он выручал их тогда, когда с них требовали подати.

— Батшко Микула... — Подать надо, — говорит крестьянин, чуть не плача.

— Поди продай коровенку, — советует отец. — Кому продать-то? город-то далеко, а староста больше рубля не даст.

— Ладно ужо.

Пойдет отец к сельскому старосте, занимавшемуся бойней животных, выделыванием кожи и имевшему большую лавку в городе. Отец ему всегда продавал крестьянских животных выгодно для крестьян: если бы староста брал корову от крестьянина, то дал бы рубль, а отцу давал пять и шесть рублей, и эти деньги отец вносил сам за крестьян за подати и другие повинности, избавляя их от хлопот и от излишних трат: отец писарю ни копейки не давал, а поил пивом или водкой до бесчувствия.

Или бывало так: придет к отцу крестьянин или черемис.

— Што, братан? — спросит отец.

— Беда бульша: хозейко подох. Лапша подох; ись... кору глодал, брюха бульна...

Даст ему отец муки с полпуда и схоронит покойников даром.

Отец часто путался насчет постов и праздников, о чем он постоянно справлялся в городе у тетки Матрены, которую очень любил.

— А што, сестра, тожно што: пост али молост? Та смеется и спрашивает: мясопуст или

мясоястие тебе?

— Все одно: пост али молост?

— Теперь молостные дни-то.

— Экой я дурак! Я ведь, сестра, капусту ем да редьку хлебаю.

— Через три недели масленка будет. Приезжай ужо.

Или спрашивает: а Петро-Павла скоро?

— Еще неделя.

— А теперь што?

— Пост.

— А я уж отгулял Петро-Павла.

— Ах ты греховодник!.. Поди к благочинному, покайся.

Пойдет отец к благочинному и даст ему лукошко яиц.

Он знал, что бывает именинник весной, но которого числа — не помнил. Дьячок, находясь с ним по месяцу на охоте, тоже путался в днях, староста грамоте не знал и с рождества до ильина дня жил в других местах, писарю отец не доверял. У отца выходило так: стаял снег, появилась трава — это значит «вознесенье», а тут скоро и Никола, а за Николой и троица. Спрашивать он не любил, а его спра-

шивали крестьяне.

— А што, Микола скоро? — спрашивают крестьяне

— Как снег стает да первый дождь будет, тут, значит, и Микола.

— А скоро?

— Да видишь ты, все снег. С гор-то снег ста-ял, а у нас нет.

А если на другой день пойдет утром дождь, он, не справившись в городе, служит обедню.

Впрочем, если бывал в селе староста, он у старосты справлялся, но староста был рас-кольник, и ему отец мало доверял.

Метрики вел волостной писарь, так как они отсылались благочинному два раза в год. Получивши от благочинного новые книги, отец нес их писарю.

— Гляди! баско как.

— Што, опять? — говорил писарь.

— Опять. Ты возьми и пищи тут.

— Да я почем знаю!

Так как писарь в книги ничего не вносил без указаний отца, то за месяц перед тем, как ехать к благочинному, он брал с собой дьячка и писаря с книгами и вписывал в них, что

нужно было, в домах обывателей, причем, конечно, обыватели даром не отделялись, и барыши делились на писаря, отца и дьячка, который, впрочем, все отдавал отцу. Благочинный очень много брал за метрики, так что отец ворочался иногда из города без копейки и без хлеба.

Дьячок Сергунька жил в нашем доме, в той избе, в которой жил отец до посвящения в священники. Он был пьяница, буян, драчун и при всем этом трус, глуп и бессилён, но человек зато честный. За это и за то, что он помогал отцу, отец любил его; без него не ел и не пил водки, пива или браги, тогда, когда Сергунька был налицо. Сергунька даже и в город постоянно ездил с отцом. Если у обоих были деньги или много пива или браги, то они сзывали обывателей к себе в дом и поили их на славу; с своей стороны, и обыватели по мере средств своих угощали их.

Отец даже обещался Сергуньку сделать попом вместо себя и просил об этом благочинного, но тот говорил: посмотрим. Да и к тому же, ты еще не умер... А впрочем, прибавлял он, нынче едва ли твоего дьячка посвятят в

священники, потому что ныне на эти места определяют ученых.

Мать у меня была смиренная, забитая, простая женщина. С крестьянами она траву косила, ходила к ним, и те ходили к ней вечеровать. Соберется эдак женщин шесть, сидят около зажженной лучины, прядут кудель, что-нибудь говорят или песни поют. Мать в детстве хорошо читала; вычитала она много о житии святых, и эти жития рассказывала женщинам. Теперь же она ничего не читала, потому что нечего было читать. Случится у кого-нибудь беда, идет к ней женщина и воет:

— Васильевна!.. сам помирает... ох!.. ох!..

Погорюет с ней мать и запечалится.

— Эко дело, Сидорыча-то нет... А то ужо возьми ключ-то от церкви да свези его туда.

— Боязно тожно будет.

— Без этого нельзя. Начальство узнает — две беды вам будет, и Сидорычу беда будет.

— Нет, уж мы как-нибудь.

— А не то, свезите на кладбище, поп после отпоет.

— Матушка ты моя! — скажет женщина и поклонится матери в ноги.

Она давала крестьянкам муки, хлеба, семян для огородных овощей, а главное — лечила их травами и деревянным маслом. Иногда больные выздоравливали.

Отец часто колачивал мать ни за что ни про что. Бывало, дерутся отец и дьячок. Так и кажется, что который-нибудь из них зашибет другого. Подойдет мать и слезно упрашивает их перестать — поколотят и ее.

Так, когда отец был дома, она постоянно ходила в синяках. Плакала моя бедная мать много и только крестьянкам высказывала свое горе, но и у них нелегко было на душе...

Трезвый отец ее не бил, а при гостях или в гостях, наливая ей рюмку водки, говорил весело:

— Ну-ко, Настька, цып-цып!

— Убирайся ты, пьяница! — говорила мать.

— Ну, пей, молодуха; не то под порог брошу!

— Убирайся ты, олень большорогой!

— Ой ты, курочка-мохноножка!

Мать выпивает рюмку, кашляет, отец подходит к ней и любезно колотит ее в спину, приговаривая:

— Подавилась попадья, подавилась, а мы укладываем.

Это забавляло гостей, они говорили: «Какой совет у попа с попадьею!» Несмотря на жестокое обращение отца с матерью, мать, кажется, любила отца. Это я заключаю из того, что, бывало, когда нет дома отца недели две, она вся измучится: долго сидит по вечерам, долго не спит и охает: «Где же это Сидорыч? Уж не заели ли его медведи? Ведь не говорила ли я: не ходи, не ходи; скоро сорокового убьешь, на сорок первом несдобровать... А то вон в какую грозу ушел пьяный. И Сергуньки-то нет ведь». И чуть только заслышит она песню или голос, ей думается: это Сидорыч... И она будит нас. Но отец часто приходил после этого недели через две.

Дьячка Сергуньку она не любила: она говорила, что он расстраивал отца, и отец до его приезда был ласковее с ней.

На девятом году мать стала учить меня и брата грамоте, как умела. Я быстро понимал, но с братом она долго возилась. Дьячок учил нас петь, но в пении я был плох, и когда я пел неладно, он, теребя мое ухо, говорил: учись,

учись, попом будешь.

Нет, уж я не буду. Пусть он будет, — говорил я, указывая на брата, и злился почему-то на дьячка.

Наступил мне десятый год. Летосчисление мое считалось с именин, потому что ни отец, ни мать не помнили, которого числа я родился. Время было летнее, жаркое. Я играл с ребятами на улице, а отец ходил по грибы. Приходит домой отец с грибами, а дьячок хлебает уху из карасей.

— Гляди-ко, Сергунька, грибы-то! Не в пример лучше твоих толстопузиков.

— Не хвастайся — поганных принес.

— Ох ты, пучеглазый!

Дьячок соскочил с лавки, швырнул на пол наберуху, грибы рассыпались по полу. Он хотел и скакал на грибах. Это до того разозлило отца, что он долго таскал дьячка за волосы и за бороду. Однако через полчаса отец смирился; мать принесла ему жбан пива, и он, отпив половину, стал хлебать уху, и по мере того, как его разбирало пиво, он начинал ворчать все более и более, говоря, что он еще в первый раз получил такую непростительную

обиду, потому что грибы были его любимое кушанье. После обеда отец и дьячок были уже порядочно хмельны и перекорялись друг с другом; мать мотала на клубок шерстяные нитки, а я держал перед ней моток.

— Уж молчал бы! Хорош поп, читать не умеет, — кричал дьячок.

— Поговори ты еще, собака! Кабы я службы не знал, не сделали бы попом.

— Ох ты? Да тебя вовсе не посвящали; тебе мерещилось, а ты и взаправду... Тебя расстригали.

— Ах, будь ты проклят... Собака, как есть собака! коли ты хороший человек, зачем ты у меня в услужении находишься? Чуча! Уж над тобой не споют с полатей на полати!

— Ну, как ты не дурак, коли сполать называешь полатями.

— Врешь! Все хорошие люди бают: коли человек заслуживает, ему большое повышение дают... Вот меня, значит, и повысили; прямо из мужиков попом сделали. А тебя не сделают...

— Да ты што больно-то расхвастался! Сколько живу, ты всего-то два медведя убил!

— Сорок три убил!

— Два, а те я...

— Ты? Да ты, што есть, хоть бы в ляжку попал. А вот я так ломом прямо по башке.

— Два!!

— А ты и вот ни на эстолько.

— Два!!!

Отец вцепился в дьячка, дьячок не уступал. Вступилась мать, но ее не слушали. Я держался за мать. В это время вошел в избу городской дьячок, которого я никогда не видал.

— Здорово. Што вы это, ребятушки?

Отец выпустил дьячка; оба они запыхались и с удивлением смотрели на дьячка в подряснике, сапогах и шляпе.

— Который из вас священник Попов?

— Я, — сказал отец.

— Нет, я! — сказал дьячок.

Отец выругал Сергуньку и спросил:

— А што?

— Благочинный приехал.

Отец струсил, а Сергунька захохотал.

— Што? он те задаст!! он те зада-аст!!! Отец посмотрел на Сергуньку сердито и спросил

приезжего дьячка весело:

— Батшко Алексей?

— О! отец Алексей перед петровым днем умер...

Отец вздохнул, перекрестился и, удивляясь, спросил:

— Кто же то, коли умер?..

— А у нас теперь благочинный новый, молодой, щеголь такой, сердитый...

— Вре?!

— Да он там, у твоего дома, в повозке сидит.

— Настька, добудь-ко балахон-то! — сказал отец матери.

— Да скорей, — торопил приезжий дьячок отца.

— А ты погоди ужо, я скоро, а ты бы его звал в горницу... Настька, волоки жбан пива... Эко дело, вино-то все выпили... Это все подлец Сергунька слопал.

— Ах, беда!.. Нажил ты, поп, беды. Гляди, благочинный-то в шапочке вышел из короба-то, — говорила мать, глядя боязливо в окно.

Дьячок отворил немного окно и дивился.

— Гляди, поп какой молодой.

— Да не кричи, болван! — горячился отец, суется.

Отец, надевая рясу, тоже глядел с нами. Он уверился в том, что это благочинный, потому что он всех священников в камилавках и скуфьях, которые он называл шапочками, считал за благочинных... Все мы, глядя боязливо в окно, удивлялись: благочинный был молодой человек, здоровый, краснолицый и, как видно, очень важный господин: мать говорила, что он важнее станового пристава, дьячок — важнее старого благочинного... Приезд его привлек на улицу много обывателей разных возрастов, которые стояли против повозки у домов, удивляясь и боясь подойти ближе.

— Эй, православные! — сказал он вдруг обывателям.

Половина из них вошли во двор, бабы глядели друг на дружку, дети глядели на него с разинутыми ртами и держались за баб.

Отец, помолившись богу, пошел на улицу с приезжим дьячком. Сергунька, мать и я с братом глядели из окна.

Отец подошел к благочинному, низко по-

клонился ему и подошел под благословение. Благочинный важно запахнулся и сказал:

— Ты, што ли, священник Николай Попков?

— Тошно так, батшко: я Микола Знаменский.

— Што?

— Отец стоял смиренно.

— Я слышал, што ты сегодня обедню не служил.

— Я-то?.. А пошто ее служить-то? Разе праздник какой?

— А ты разве не знаешь этого?

— А поцем мне знать-то... Вон я вцера из лесу пришел с Сергунькой. Медведев-то ноне маловато, а рябков да глухарей — это благодать.

— Ты стреляешь? Разве дозволено священнику проливать кровь?

— Эко слово сказал! Да я всегда этим занимаюсь, потому кору бы глодал. Зачем! А ты, батшко благочинный, залезай в избу-то, я те пивком попотшую да глухарей дам.

— Предоставляю это вон ему, а мы отправимся в церковь, — сказал гордо благочин-

ный, указывая на приехавшего с ним дьячка.

— Пошто?

Дьячок Сергунька, услышав это, схватил ключ, лежавший на божнице перед иконами, и, не говоря ни слова, выбежал из избы на улицу и, не поклонившись благочинному, побежал к церкви.

— Куда ты, шароглазый? — крикнул ему отец.

— Обедню служить, — прокричал дьячок, не останавливаясь.

— Сергунька?! да разе топерь служат обедни, свинья ты этакая! — кричал отец горячась, и сказал благочинному: — А ты, батшко, не спесивься: вот Христос, пиво у меня всем пивам пиво. Пей не хочу, да и с дорожки-то ушки бы похлебал. Сергунька славных карасей наловил.

— Кто этот Сергунька?

— А дьячок. Бестия такая, што беда, а ни на кого не променяю; нужды нет, што он поперек в горле сидит. Подем... А?

Благочинный, как я заметил, хотел есть, но ему не хотелось согласиться на приглашение отца. Дьячок, приехавший с ним и без стесне-

ния ходивший около него, ругавший лошадей неприличными словами, укладывавший вещи в повозке, насвистывая, с достоинством глядя на народ, собравшийся изо всех домов, и желавший посмеяться над отцом вслух и тем показать нам, что он в хороших отношениях с благочинным, залихватски спросил благочинного:

— Ваше высокоблагословение, прикажите лошадей распречь?

— Не твое дело! Я скажу, — сказал благочинный, сердито взглянув на дьячка, желая этим доказать дьячку, как он ничтожен. Дьячок присмирел.

— Пожалуй, — сказал благочинный и, к великой радости отца и ужасу матери и нас, вошел в избу. Мать подвела нас под его благословение. Отец ввел благочинного в горницу, засуетился.

— Ты не хлопочи, — сказал благочинный и потом, затыкая нос, прибавил: — Как здесь душно, грязно...

— А што, батшко!.. Прежние благочинные никогда не ездили сюда, а ты и грамотки, што есть, не послал. Уж я бы припас про те много.

А то што: уха!

Отец и мать суетились до того, что позабыли, что им нужно. Отец был в восторге, что он угощает самого благочинного, а мать сердилась на отца, упрекая его тем, что он не позаботился раньше об угощении и вылакал с дьячком все пиво и брагу.

Уха благочинному не понравилась; пива оказалось немного; он расспрашивал о приходящих, зевал. По-видимому он был голоден, дожидаясь хороших кушаний, но отец угощал его пивом, которое мать достала от старосты. Большого труда стоило отцу заставить благочинного пить пиво, которое он пил как будто с отвращением, но все-таки захмелел.

— А ты бы, батшко, тово... поспал бы маленько. Поди-ко, растрясло, — говорил отец.

— Пожалуй, не мешает. Позови дьячка.

Дьячок толковал о чем-то с мужиками, энергически растолковывая им что-то; те хотали.

Лошадей и повозку втащили во двор. Дьячок втащил в горницу все вещи из повозки и положил на отцовскую кровать перину и подушки. Благочинный лег спать, приказав,

чтобы его не тревожили, а отец, накормивши и напоивши дьячка, пошел с ним в церковь. Там Сергунька, читая какую-то молитву, чистил полой армяка оклады на иконах.

— Уж я читал-читал часы, а вас нет... — говорил недовольным голосом Сергунька.

Отец захохотал. Скоро они вышли из церкви, взяли у соседей пива и долго протолковали в избе Сергуньки. Приезжий дьячок уверял, что благочинный ужасно строгий человек и помаленьку не берет.

На другой день утром, когда проснулся благочинный, то потребовал умываться. Отец подавал ему воды, за что получил благодарность. Умывшись и помолившись, он приказал поставить самовар; но так как у нас не было ни самовара, ни чайной посуды, то благочинный потребовал метрики.

— Батшко, я сбегаю к Ваське. Он — писарь и все метрики баско ведет.

Благочинный дожидался отца с час. Отец принес белевые книги, в которых ничего не было написано.

— Что это такое? — спросил удивленный благочинный.

— А што?

— Отчего тут не вписаны родившиеся, умершие и т. п.?

— А пошто их писать-то? опосля впишу. Благочинный раскричался, отец струсил и не знал, что говорить.

— Я об этом высокопреосвященному донесу!

— Батшко, не жалуйся! — сказал отец, кланяясь в ноги благочинному, который стал кричать громче прежнего и долго что-то говорил непонятное для нас.

— Я желаю видеть твою службу, — сказал вдруг благочинный и пошел вон из нашего дома на улицу.

Пошел отец в церковь с благочинным и дьячка Сергуньку взял. Облекся отец в холщовую ризу и начал обедню. Церковь была полна любопытными. С самого приступа благочинный заметил отцу, что он врет, и потом, вдруг приостановив службу, оделся в привезенные из города облачения и стал сам продолжать службу с своим дьячком. Отцу было стыдно; Сергунька сердился. Народ, видя, что служил не Никола Знаменский, вышел из

церкви.

По окончании обедни благочинный сказал отцу: «Приказываю тебе непременно явиться ко мне вместе с дьячком в город», — и, не выходя из церкви, велел своему дьячку запрягать лошадей. Сколько отец ни уговаривал его отобедать у него, он пошел к старосте, который пригласил его. Отцу было обидно, что благочинный пошел обедать к его врагу, и этот враг не пригласил отца.

Отец злился на дьячка, дьячок смеялся над отцом, и общим советом было решено накласть повозку благочинного глухарями, яйцами, рябчиками и маслом. Без сбора дело не обошлось.

Благочинного провожал отец с Сергунькой, мать, мы — два брата, староста и несколько обывателей. Когда благочинный сел в повозку, то сказал отцу:

— Непременно приказываю тебе ехать в город вслед за мной и явиться ко мне с дьячком и детьми, которых я желаю отдать в училище. — Приезжий с ним дьячок был очень пьян и кое-как сел на козлы; но староста распустил сам исполнить должность кучера, и

благочинный уехал.

«Пошто меня зовет в город благочинный?» — думал отец, и это его весьма опечалило. Ему думалось: зачем приезжал этот новый благочинный в село? Посоветоваться было не с кем, потому что мать ворчала, Сергулька дразнил отца и больше растравлял его, а старосту он ненавидел. Отцу хотелось подарить благочинного, но чем?.. Нового сбора с крестьян он не хотел делать, идти в лес тоже не хотелось, потому что хотелось скорее съездить в город. И он поехал один. Через две недели он приехал назад.

— Благочинный топал-топал на меня ногами, просто беда! — рассказывал отец. — Я, ба, ет, што тебе велел? Я, ба, ет, тебе велел явиться с дьячком и сыновьями. Поезжай назад и привези их. А там увидим. Уж я ему кланялся-кланялся — сердится. Прогнал, што есть. А ничего не сказал, пошто мне с ребятами приезжать.

Мать очень опечалилась: она любила меня, да она и боялась оставаться в доме одна. Решено было ехать в город и ей. Поехали.

Представились благочинному; он сказал

отцу:

— Тебя и дьячка твоего преосвященный требует к себе в губернский город. Изволь ехать.

Это было сказано таким тоном, что отцу, дьячку и нам показалось, что благочинный на отца ужасно осердился. Он с нами даже и говорить не хотел и скоро ушел в комнаты.

Отец спрашивал своих городских знакомых: что бы означало это приказание, но они говорили одно: не знаем. Может статься, что он перевести вас с дьячком хочет. А впрочем, не набухвостил ли (не пожаловался ли) благочинный.

Губернский город от Березова находится в четырехстах верстах; в нем ни отец, ни дьячок никогда не бывали и даже не знали туда дороги. Денег у отца было около рубля на ассигнации, а у дьячка никогда не водилось денег. Запечалился отец крепко, попросил денег у мужа тетки Матрены, тот за несколько пар глухарей и лукошко яиц дал десять рублей на ассигнации и, кроме того, взял с него расписку, что он деньги уплатит. Вся наша семья была печальная, как будто все находились в

большом несчастье; но все-таки отец с дьячком казались веселыми и перекорялись друг с другом. Встретилось еще затруднение: когда благочинный был в селе, то велел отцу привезти к нему детей, а когда мы были у него, то он на нас не обратил даже внимания. Что делать с нами? Муж Матрены советовал пожить нам с матерью, до его возвращения, у него, дьякона, но благочинный вдруг потребовал отца и спросил:

— А ребят ты привез?

— Привез.

— Вези в губернский; там возьмут их в семинарию.

Отец хотел было возражать, но благочинный ушел. Итак, мы поехали, а мать осталась у тетки Матрены. О нашем путешествии говорить не стоит, потому что ни для кого нет интереса. Достаточно и того, что мы четыреста верст ехали две недели.

Всю дорогу отец был задумчив; дьячок, по мере приближения к городу, становился все веселее и старался рассмешить отца чем-нибудь;

— Поп, а поп? Отец молчит.

— Вот оно што: в гости сам архирей зовет...
Только я мекаю, не обман ли это?

— А што?

— Што? А то: может, нас стегать будут за то, што мы обедни не умеем служить. Чуешь?

— Будь ты проклятой! Чево ведь он и не скажет!..

Приехали к городской заставе. Я сидел на передке и спрашиваю:

— Тятка, куды ехать?

— Куды?! валяй к архирею... — сказал отец.

Поехали прямо. Попалась навстречу женщина. Отец снял шапку, остановил лошадь и спросил ее:

— А куды-ка к архирею надо ехать?

— А тебе на што? — спросила та, улыбаясь.

— Звал.

— Да топерь позно...

— Вре?!

— А вы поезжайте прямо, потом направо, тут в улице желтую колокольню увидите, там спросите.

Поехали. Отец дивился, глядя на дома.

— Вот так город! А архирей, поди, в таких горницах живет, што...

— Нет, ты вот что скажи: што он ест?

— А он, поди, уж ест не нам чета. Поди, и жена у него иная.

— Дурак ты, поп: сказывают, архиереи не женятся.

— Толкуй! Как не то без жены-то?

С такими разговорами подъехали мы к архиерейскому дому. Были уже вечерни.

— Ну, ты, слезай, — говорит отец дьячку.

— Нет, ты, ты старше меня.

— Слезай, баю!

— Не слезу! Умру, а первый не слезу.

Нечего делать, слез первый отец, за ним Сергунька, потом и мы; но нам отец велел сесть.

— Ты, поп, один поди туда... — говорит Сергунька.

— Нет, вместе.

— Ну уж, меня не затащишь.

— Сергунька! али мы не вместе по медведей ходим али мы не товарищи?..

— То иное, это иное, — боязно.

Подошел отец к воротам; ворота заперты. Недалеко от ворот стояли два семинариста и разговаривали друг с другом. Отец подошел к

ним, снял шапку и поклонился.

— Поштенные, а откуда к архиерею залезать?

Это удивило семинаристов, они захохотали.

— Да ты кто?

Отец сказал.

— Он еще не приехал: он в уезде. Впрочем, завтра ждут.

— Да как же он звал?

— Мало ли что звал! И месяц проживешь...

— Какой месяцч?

Семинаристы захохотали, стали расспрашивать отца; выговор отца смешил их, отец не понимал их и, думая, что они издеваются над ним, плюнул, обругался и пошел к лошади.

Оставивши нас караулить лошадь и телегу, отец с дьячком пошли разыскивать ход к архиерею, но воротились назад через час с каким-то дьячком, который велел нам ехать за ним.

На квартире мы прожили с неделю. Дьячок и отец познакомились со многими семинаристами и дьячками, которых он угощал

водкой и которые тоже угощали его. От них он узнал об разных порядках: узнал, что есть консистория, архиерейский письмоводитель, когда и как нужно являться к архиерею, к письмоводителю его и в консисторию и т. д. Узнал он также, что за разные справки нужно давать деньги.

Приехал владыка. На другой день отец и дьячок поплелись к нему с двумя дьяконами, а мы остались дома, потому что отцу сказали, что он должен поместить нас а семинарию на казенный счет.

Воротились отец и дьячок печальные. Отцу приказано было в субботу прочитать в крестовой церкви шестопсалмие, а дьячку звонить на колокольне. Отец запечалился над тем, как он будет читать при владыке, а учить некогда, потому что завтра суббота: дьячок ругает отца.

— Это все от тебя, потому ты дурак... Какой ты теперь поп, когда тебя в церкви читать заставляют? теперь ты дьячок, а не поп.

Хотя отцу и говорили, что читать шестопсалмие священникам не редкость, и даже в соборе один протопоп а большие праздники,

по своему желанию, читает шестопсалмие, но отца трудно было уверить; он думал, что он теперь дьячок.

Пошли мы в крестовую и стали с дьячком около клироса, около которого псаломщик читал часы; отец стоял около псаломщика и дивился тому, как это он скоро читает так, что ничего не разберешь. Певчие поддразнивали отца и подсмеивались над ним; отец стоял как на иголках.

— Ступай, — сказал отцу вдруг псаломщик.

— Куды? — спросил громко отец, не привыкший еще говорить шепотом; народ поглядел на отца.

— Ступай, ступай! бери книгу, — говорил отцу дьячок.

Певчие хохотали, стоявший с ними на клиросе протодьякон шептал отцу сердито:

— Што ж ты стоишь? иди скорее.

Отец пошел, но не в ту сторону; псаломщик остановил его против царских дверей и, указав на место в книге, ушел.

— Господи благослови... Благослови, владыко, — начал громко отец, но, верно позабывшись, сказал громко: — Эка оказия!

Народ хихикнул, певчие зашишикали, из левых дверей вышел эконом...

Отец пошел вон из церкви.

Он говорил, что с тех пор, как он встал на середину церкви, ничего не помнил, что происходило вокруг него. Сергунька, сначала хохотавший, по уходе отца сказал нам:

— Подемте, ребята. Беда! Экой ведь он, вправо... Ну, нет, штобы меня попросить...

На другой день потребовали отца в консисторию и там объявили, что ему запрещено исполнять всякие службы, что он теперь даже не дьячок, а расстрига, и отдан под суд. Сколько отец ни валялся в ногах — ничего не помогло. К владыке его не допускали.

После этого он прожил в городе еще две недели: в это время он хлопотал за нас, звонил на колокольне с Сергунькой, и когда нас приняли, он поехал домой с Сергунькой, которого тоже расстригли и отдали под суд, как и отца, за метрики.

После этого мне и брату Ивану не приводилось видеть отца и Сергуньку, потому что мы не имели возможности ездить в Знаменское село. Отец жил только год. Вот что рассказы-

вала мне тетка Матрена.

— Николаха сказывал, что уж он теперь не поп, а хуже дьячка. Ну, говорил, ничего... Уж он, верно, много об этом передумал. Когда он приехал в село, крестьяне говорили, что они стосковались о нем. «Не поп уж я теперь, — говорил он им, — и не Никола Знаменский, а крестьянин.» Но как ни уверял он обывателей, те не хотели верить... Покойников и родившихся прибыло много, а так как отец не хотел справлять требы и прочие службы, то крестьяне не отходили от его дома. Уж неизвестно, как он отделялся от крестьян. Церковь была заперта месяца четыре, и когда приехал новый священник с дьячком, крестьяне объявили им, что у них есть поп Никола и дьячок Сергунька. Как ни бился священник, только ни один человек не шел к нему ни за чем. Священник стал жаловаться начальству, начальство посадило отца в острог, потому-де, что он бунтовщик. В остроге отец и умер, а Сергунька через год после того утонул в реке. Мать умерла у тетки Матрены. И теперь наши знаменские крестьяне помнят отца: «Не бывать уж такому доброму попу, ка-

кой был Никола Знаменский».

А так как крестьяне ничего не давали священникам, священники часто менялись, а начальство ничего не могло сделать с крестьянами, то приход перевели в другое село; церковь недолго стояла; она сгорела от молнии...

1897

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые опубликовано под заглавием «Никола Знаменский. Рассказ доктора» в «Отечественных записках» (ред. А. А. Краевский), 1867, № 11; подпись Ф. Решетников. Рукопись неизвестна. При жизни автора вошло в: Сочинения Ф. Решетникова. Тт. I–II. т. II. Очерки, рассказы, сцены. Серия «Добрые люди». 1869 г.

Включалось во все посмертные собрания сочинений.

В советский период, начиная с 1919 г., многократно переиздавалось в сборниках рассказов, избранных произведений Ф. М. Решетникова, в указанном Полн. собр. соч., т. I.

В письме к Н. А. Некрасову от 15 февраля 1866 г. сам Решетников так изложил историю создания произведений:

«Прилагаемый при сем рассказ „Никола Знаменский“ есть первая попытка писать в прозе... Рассказ этот был назван „Мой отец“ и переделывался несколько раз. В 1864 г. летом я давал его Пыпину (сотрудник „Современника“. — Т. П.), он отозвался, что в таком виде, как он был тогда, нельзя его печатать. С тех

пор я переделал два раза и назвал „Николой Знаменским“. Я думаю, что в нем ничего нет нецензурного, как было прежде... Прежде у меня был выставлен архиерей как хороший человек, теперь на место его явился благочинный и понятия дикаря о важности такой особы, которая в провинции для духовных важнее митрополита в Петербурге. Если вы найдете неудобным некоторые слова, вроде: с палатей на палати (или исполаети деспотат), ахти вошь (или аксиор), то хоть и жалко... с ними расстаться; потому что все крестьяне, относясь с уважением к личности архиерея, почти так же коверкают греческие слова. Например, не ходят ли свободные суждения об архиереях: женат ли он или нет?» (Из литературного наследия Ф. М. Решетникова. Изд-во АН СССР, Л., 1932, с. 346).

Слова автора «это первая попытка писать в прозе» неточны: по свидетельству Г. Успенского, рассказ «Скрипач» написан Решетниковым раньше, в 1861 г.

Тематическая и стилевая близость к «Подлиповцам» позволяет отнести начало работы над рассказом «Мой отец» к февралю 1862 г.;

из него впоследствии сложилось одно из лучших произведений Решетникова — «Никола Знаменский». Препятствием к напечатанию рассказа в течение нескольких лет служила его антирелигиозная и антицерковная направленность.

Редактор «Русского слова» Н. А. Благовещенский в письме от 10 июня 1865 г. сообщал жене писателя С. С. Решетниковой: «Что же касается до другой статьи его „Никола Знаменский“ (рассказ доктора), то эта статья до того нецензурна, что ее не решится печатать ни один журнал. Мы, впрочем, надеемся пустить ее осенью, когда, как говорят, цензуры не будет» (Из литературного наследия, с. 347).

Рассказ в этих журналах не был напечатан: В 1866 г. «Современник» и «Русское слово» были закрыты.

«В это время, — записывает Решетников в своем Дневнике, — Некрасов стал советовать мне писать для Краевского роман. Я сперва не согласился, но он убедил меня... Краевский принял любезно... Я ему отдал „Николу Знаменского“ и „Тетушку Опарину“. Оба рассказа он и хотел напечатать. Первый напечатал...»

(Из литературного наследия, с. 280–281).

Реакционная критика («Сын отечества», «Заря»), клерикальная печать («Христианское чтение») отрицали правдивость и достоверность рассказа Решетникова, автор обвинялся в клевете на действительность, в оскорблении церкви; рассказ объявлялся «пустым», язык «плохозвучащим», писателя-демократа причисляли к школе, которая была издевательски названа «литературой «толды и колды». Рассказ «унижает в общественном мнении значение духовного сословия» — признало цензурное ведомство.

Между тем точность и истинность фактов, историческая достоверность рассказа Решетникова подтверждена многими документами, источниками, свидетельствами.

В статье, посвященной Решетникову, критик А. М. Скабичевский отметил типичность и рельефность образа попа Знаменского («Отечественные записки», 1862, N 12, с. 250).

В программной статье Н. В. Шелгунова «Народный реализм в литературе», написанной под впечатлением преждевременной смерти писателя-разночинца, критик отмеча-

ет в творчестве Решетникова «превосходные монографии... отдельных естественных характеров... народных типов» и среди них называет образ Николая Знаменского: «Дик этот Никола, как медведь, на которого он ходит, как первобытный новгородский славянин, забравшийся в чужь заволоцкую. А в то же время в этом диком славянине чувствуешь простую, бесхитростную доброту и прирожденную гуманность, не испорченную цивилизацией...» (Шелгунов Н. В. Литературная критика, с. 306).

Включая рассказ в первое собрание сочинений, Решетников восстановил те исправления цензурного порядка, которые он внес в журнальную публикацию (очевидно, по настоянию Краевского). Были произведены и другие поправки текста, свидетельствующие о несомненном росте писательского опыта и мастерства автора.

Т. А. Полторацкая.

Примечания к изданию: Ф.М. Решетников. Между людьми. Повести, рассказы и очерки. Изд. «Современник», М., 1985 г.

Комментарии Т. А. Полторацкой к рассказу:

... Березовского уезда. Холодной губернии... — Березов — псевдоним Чердыни или Соликамска; Холодная губерния — псевдоним Пермской губернии.

... за пятерик дров... — пятерик дров... — пятиполенная сажень из поленьев по 10–12 вершков.

... отложим попечение... — вошло в язык в значении: перестать думать, расстаться с мечтой.

...к набольшему дьякону... большой дьякон... — в значении: протодьякон, первый старший дьякон, одно из низших духовных званий.

... назвал его первенством... — искаженное «первосвященство», титул архиерея.

... с полатей на полати... — искаженное «исполать» — хвала, слава.

... ахти вошь! — искаженное — «аксиос» (греч.) — достоин.